

Зоя ГОРЕНКО

О САМОМ ЛУЧШЕМ

Зоя Горенко (удивительно, кстати, похожая на Анну Андреевну Горенко-Ахматову!) поразила меня при первой же встрече — была в ней и в ее стихах некая инаковость, которая притягивает нас тем самым «лица необщим выраженьем».

Ее очерк «О самом лучшем» — это не просто рассказ о детстве, это живая проза о времени минувшем, это другое измерение, где «счастливое детство и кладбище — неразделимы», где среди могил, крестов и памятников играли в прятки, а на «еще не заселенной умершими земляками полянке резались в вышибалу». В общем, все по классике, как у Пушкина: «И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть».

К слову, как-то однажды Зоя сказала: «С детства, куда б я ни ехала, всегда представляла, что я это все Пушкину показываю». И наверняка Пушкину было показано в первую очередь родное село Шийковка, потому что «я всегда знала, что шийковски люды самэ луччи в свити».

Светлана МОСОВА

1. В ДОЛИНЕ ВЕЛИКОЙ ТРИЗНЫ

Мое счастливое детство и кладбище — неразделимы.

Дом наш стоял в долине, или, как у нас говорили точнее, в ярку. А кладбище находилось совсем рядом, в нескольких шагах, через дорогу — на пригорке. Оно всегда было перед моими глазами и поэтому никогда не казалось чем-то пугающим и мистическим. Оно являлось органичной частью моей жизни. Среди могил, крестов и памятников мы играли в прятки. Мы — это я с моими соседями и друзьями Колей и Валеркой, а также примкнувшими юными жителями из более отдаленных хат. На свободной, еще не заселенной умершими земляками полянке резались в вышибалу.

Однажды, не пожелав перед сном мыть ноги (а бегала я летом исключительно босиком и по всем возможным лужам), я отправилась ночевать на кладбище. Матушка отыскала меня, свернувшуюся в калачик, в ямке, образовавшейся на месте старой запавшей могилы, и впервые в жизни выпорола. Ну как выпорола? Чем-то хлестнула несколько раз сзади.

Второй раз меня побила (тряпкой) бабушка за купание ранней весной, в половодье, когда еще не весь лед сошел в речушке на лугу. А третью «порку» мне учинили за выставленные птичкам на прокорм груши, которые вредная бабка Якилина несла то ли на базар, то ли еще куда-то. Во всех остальных случаях обходились криком и рассказами про каких-то «людских детей», которые никогда ничего плохого, в отличие от меня (а также Коли с Валеркой), не делали...

Зоя Горенко — поэт, журналист, сотрудник регионального Центра русского языка, фольклора и этнографии. Уроженка Харьковской области, Изюмского района, села Шийковки. Проживает в Иркутске.

Мы чинно провожали всех односельчан в последний путь, кидали в разверстую могилу горсть глины (почва на пригорке глинистая) и поминали покойных за щедрыми столами их родственников. Копачи могил частенько просили у бабушки или мамы лопату или другой инструмент и, уж конечно, кружку, чтобы попить воды из нашего колодца. Несмотря на то, что вода текла «з пид мертвякив», была она очень вкусной, пока родники в нем не замуслились или, как у нас говорили, замулились. Тогда пришел один из моих звездных часов, которые сделали меня героиней местных сказов.

Наверное, мне тогда было лет 10–12. Меня одели в брезентовый плащ, подвязав его веревкой, большие резиновые сапоги, посадили на палку, прикрепленную к концу цепи, дали ковшик и ведро и спустили на дно колодца. И я его почистила, чем заслужила восхищение взрослых и зависть ровесников. Впрочем, про зависть это я уже придумала. Особо завидовать было некому. Валерка к тому времени уже переехал в другое место, Коля оказался существом, начисто лишенным такого порока, как зависть. А Клава была слишком боязливой, чтобы желать сомнительной славы чистильщика колодцев.

Почти всех селян, даже «партейных», после митинга отпевали собственными силами. Мою маму и бабушку часто «гукалы спиваты» (звали петь) на похороны. Так что с раннего детства моими любимыми мелодиями были «Со святыми упокой» и «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Только нам казалось, что это сугубо местные народные песни. Церкви-то не было. Задолго до меня, в конце 30-х, ее взорвали. А престольный праздник Успения Божией Матери тем не менее отмечался — и в моем детстве, и долго-долго после. И назывался он «Шийкивська Пречиста», Шийкивська, потому что село наше — Шийковка, а Пречиста — потому что посвящен Пречистой Деве Марии.

Самым лучшим временем для всех нас, а детей особенно, были пасхальные дни. Уже за неделю-две до Пасхи на кладбище производилась уборка. Приходили люди со всего села, приезжали из городов родственники, очищали могилки от бурьяна, посыпали их песком. Благо тут же, «в ярку», находился песчаный карьер, где можно было добыть песок разных цветов: от ослепительно-белого до ярко-рыжего. Обычно холмик покрывали белым, кайму делали оранжевой, а желтеньким посыпали вокруг. В общем, творили, как умели.

В Чистый четверг мы с бабушкой ходили «на службу». Как я уже сказала, храма в селе не было. Но тоже рядом с кладбищем, единственная, кстати, по ту же сторону дороги, стояла хата, где жили монашки — Александра и Анна, в повседневности Сашка и Анюта. Они появились здесь давно, после закрытия какого-то монастыря. Ах, если бы меня тогда интересовал этот вопрос! Но он не интересовал совершенно. Женщины назывались «манашкы́» с ударением на *ы* и воспринимались так же, как Горенки (тоже с ударением на *ы*), Лемишки, Кышкуны и т. д. Жили они, как все, носили такую же одежду, как и все старушки. Но убранство внутренней «хаты» значительно отличалось. Если у нас иконы с рушниками висели только в красном углу, то у «манашок» они занимали всю стену, они были вообще везде. Как именно велась служба, сейчас я вспомнить не могу. Но прекрасно помню, даже не помню, а ощущаю всем естеством, как иду я вслед за бабушкой в темноте и несу в одной руке свечечку, а второй прикрываю огонек от ветра. Все мое внимание сосредоточено на этом огонечке. Если он, к моему необычайному огорчению, гас, бабушка зажигала его вновь. Этими свечками она рисовала кресты: на дверях — от воров, на сволоке — от грозы.

На саму Пасху, называемую ВЕЛИКДЕНЬ, кладбище посещало много людей. Христосались, обменивались яйцами и *пасками* (слова *кулич* мы не слышали даже), на могилках все это оставляли. А мы, дети, собирали и, перекрестясь, поминали родычей.

Но апогеем Пасхалии был Родительский день, который у нас почему-то называли *проводами* или *проводками*. И отмечался он не во вторник, как в большинстве регионов православной Руси, а в понедельник, что, на мой взгляд, и более верно, потому что это и был девятый день по Пасхе.

О, это были настоящие праздники, которые с течением времени слились в ОДИН огромный, незабываемый и неподражаемый!

Поскольку мы жили ближе всех к кладбищу, наша бабушка считалась как бы его заведующей. И именно ей доверяли открывать Великие поминки — проводки. Часов в 10 утра она отправлялась в ту точку ярка, где накануне уже частично был воздвигнут очаг. Она укрепляла на специально сложенных камнях большой чугунок с водой и зажигала костерок. Когда дымок поднимался выше обоих пригорков, к костру начинали подтягиваться бабы-кухарки, самые выдающиеся поварахи от Шийкивки и Клымивки. А я забыла отметить, что и наша хата, и кладбище являлись условной границей между двумя селами, хотя в длинном ряду хат не существовало никакого, даже малейшего промежутка... И тем не менее неуловимая разница в характерах и отношении к тем или иным явлениям у соседей была! Да что там — она сквозила даже в поведении представителей разных частей одного и того же села!

Но вернемся в Долину Великой Тризны. Там уже кипит борщ и булькает в больших чугунах «майська каша» — то есть густой пшенный кулеш. Все с большим количеством мяса, которое по такому из ряда вон выходящему случаю выписал колхоз. Преимущественно это делал шийкивский, особенно после того, как его возглавил мой двоюродный дядя — Анатолий Иванович Гомон. (Он же давал машину, чтобы старушки могли съездить в церковь в село Сеньков, находящееся километрах в двадцати, на берегу Оскольского водохранилища.) Все остальные продукты поминальщики приносят с собой, складывают в общую кучу. А потом особо умелые хозяйки от двух сел раскладывают пищу за «столы». Столами служат домотканые дорожки, расстеленные на молодой травке. А уж «сидушки» каждый придумывает себе сам: на коврике, на кофте, на платке или просто на траве. Эти столы были длинные, в два-три ряда. Народу приезжало из городов (Харькова, Изюма, Славянска и др.) великое множество. И вот все мы садились у подножия кладбища, на виду у умерших предков, и совершали ту самую славянскую тризну, которую никто этим словом не называл. Просто крестились и выпивали — сначала за упокой умерших. Потом уже за здравие здравствующих. Потом долго-долго общались друг с другом, а под конец уже кое-кто и песни пел, отнюдь не божественные.

А нам-то, детям, сколько работы было! Мы сортировали собранные на могилках «канхветы», складывая в почетную кучку дорогие городские «шиколадные»! Мы бегали за жуками-хрущами, соревнуясь, кто их больше поймает! И до чего же, до чего же вкусными были тот борщ и та «майська» каша! Никогда нигде я больше такой не ела и уже, конечно, не попробую...

Долго-долго кладбище обходилось без ограждения, тем самым еще больше сокращая расстояние между живыми и умершими. Но однажды, когда я уже была студенткой, мужики собрались, попросили в колхозе материал и огородили обитель, так сказать, скорби. Руководил этим благородным делом Михайло Грабарь по прозвищу Скаженный (бешеный) или Паленый. Он же придумал над воротами водрузить арочку с надписью «Добро пожаловать». В один из моих приездов я узнала о смерти строителя. «Уже пожаловал и Мышко», — тихонько засмеялась тетя Галя.

2. БАБУШКА И ЕЕ ДОЧЕРИ

У меня не было отца, деда, родных братьев и сестер. Зато у меня была БАБУШКА.

Ее звали Марфа Евсеевна, в девичестве Сидоренко, по мужу Горенко. На нашем краю почти все были или Сидоренки, или Горенки. Так он и назывался — Горенкивка. Когда-то бабушка была Марфушкой, с лицом «як яблучко», а замуж она вышла за не очень красивого и не очень здорового Петра, из-за того, что он «на балабайке» умел играть. Быстро они нарожали четверых девчонок (еще одна умерла сразу), и тут их «раскулачили». В доме бабушкиного детства, где когда-то жила огромная семья из двух с лишком десятков человек четырех поколений, разместили контору и поселили голодранца и пьяницу Котулина, который после, в голодовку, украл у нас последнего петуха, съел его и умер от заворота кишок.

В первый год коллективизации наши в колхоз не вступили, пытались выжить по-старому. Но не тут-то было. Все поотбирали. Когда приехали раскулачивать, дед Петр стал кидать на бричку с отобранным добром и детей, которым теперь было нечего есть. Ну, дети-то попрыгали с брички и вернулись, а еда уехала...

Девчонки рождались с разницей в два года, спали все на печи, а Фене (предпоследней) почему-то чаще всего не хватало места, и ее клали рядом — на дровах. Я подозреваю, что другим тоже приходилось там ночевать, но обидчивой Федосье казалось, что дискриминируют именно ее. Это чувство усугублялось тем, что только ее одну из всех отдавали «в наймы» — нянькой куда-то в соседнее село. Правда, нянька через несколько дней прибежала домой, но обида осталась на всю жизнь. И сколько я себя помню, съезжаясь вместе, мои тетки ссорились из-за «дров» и прочей ерунды, так в них и осталось детство. Старшие — тетя Феня и тетя Шура — передразнивали тетю Галю, как она «перехнябливается», то есть кривится и выглядит несчастной, чтоб ее мама жалела. А тетя Галя действительно с раннего детства была очень болезненной, пережив дизентерию, которую никак не лечили, и она ей все внутренности перекорежила.

В 1939 году появилась пятая, последняя дочка в семье, моя любимая тетя — Вера. Про своего отца, моего деда, она помнит только то, что он высоко поднял ее над головой, когда уходил на войну. Месяца через два пришла похоронка: «Умер в окопах от воспаления легких».

Во время оккупации немцев в селе практически не было — были румыны и итальянцы, которые гонялись за гусями и курами и ловили их, захлестывая бичом. Когда после мы держали индюков, то их голготание неизменно сравнивали с румынским говором.

В пять лет Вера опухла от голода. Бабушка Марфа всю ночь молилась Богородице, и на следующий день им дали полмешка муки, благодаря чему они выжили. Но все равно от детства у тети остались светлые воспоминания. Такие, например.

Мама куда-то ездила что-то менять на хлеб. И наверное, выменяла. Но я даже про хлеб не помню. А помню про то, как я к ней вечером прилегла, легла рядом и говорю: «Мамо, розкажіть казочку». И она начинает рассказывать. Про Вовчика и Лисичку, про Кобылячу Голову... И так мне хорошо у мамы под боком.

Это потом она могла с ужасом оценить всю степень нищеты, в которой росла: одна деревянная кровать, застеленная домотканым рядом (рогожкой), лавка, стол — и больше ни-че-го. И ту невообразимую силу, которая помогала голодной, измотанной работой и горем женщине рассказывать вечером своему голодному ребенку сказочку.

Часто, слушая эту историю, я, впоследствии став матерью, не раз примеряла ее на себя себе в осуждение. Примеряю и глядячи на современных мамочек, которые всегда «устали», и поэтому не до сказочек им.

Старшие бабушкины дочери прожили страшные вещи во время войны. Шура и моя мама — Маруся — работали в военной прачечной. Они стирали гимнастерки, штаны, шинели, приходившие с фронта. Вручную, на ребристых досках. Зимой и летом в резиновых сапогах. Потом в тех же сапогах выходили на улицу. Ноги у них были, сколько я помню, страшные, черные. И руки с покрученными пальцами, как грабли. Так они сами про них говорили. Но зато ни у кого не было столь чисто отстиранных простыней, как у нас.

После Шуру завербовали отстраивать Сталинград, где она тяжело заболела, каким-то образом выжила, и кто-то из знакомых помог ей добраться до дома. Бабушка ее прятала, потому что могли и арестовать за «побег».

Всех их женихов поубивали на войне, поэтому замуж вышла только одна — Феня. Бабушка страшно обо всех переживала и простодушно рассказывала тем, кого давно не видела: «Ты ж знаешь, Палажко, якэ в мене горе, дівчата не замужем».

Все они после войны разъехались по «производствам» и там продолжали свои какие-то невысказанные трудовые подвиги. Тетя Галя, всегда напоминавшая узницу Освенцима, болевшая, кажется, всеми на свете болезнями, например, устроилась в Славянске... грузчиком! И не что-нибудь, а коробки с хозяйственным мылом в вагон грузила. Позже, уже в Дебальцево, она умудрилась отыскать не менее «подходящую» работенку — кондуктором на товарных, иногда пассажирских поездах. О, это совсем не тот кондуктор, который билетки продает в общественном транспорте. Наш кондуктор находился в тамбуре последнего вагона и показывал красный, желтый, зеленый кругляшок не знаю кому. Казалось бы, что ж там такого? Но представьте себе этот тамбур, особенно зимой, в нем деревянная табуреточка на манер стремянки. На ней сидела и тряслась, в том числе от холода и страха, моя бедная тетечка. Однажды летом я напросилась «покататься» с нею на поезде и, даже будучи в розовых очках детского романтизма, разглядела всю неприглядность этой работы. Задница еще несколько дней хранила синяки от стремянки. А проехали мы от Дебальцево до Днепрпетровска, там переночевали где-то в депо и отправились обратно. Но на Днепр сходили — запечатлелись в памяти отражения города в ночной черной воде.

Тетя Шура тоже стала железнодорожницей, но немного поудачней — проводницей в пассажирских поездах. Побывала во многих городах Союза.

В общем, к середине 50-х в деревне оставалась одна Вера, которая оканчивала школу почти отличницей и, конечно, мечтала вырваться из колхоза. В это время и вернулась из Харькова моя мама, и вскоре родилась я.

Моему появлению на свет не то чтобы не обрадовались, но были им глубоко разочарованы. Поскольку в доме не было никакого мужика, все надеялись, что родится мальчик и хоть когда-нибудь да станет «хозяином». А тут — опять — «гава» (так раздосадованно именовались у нас женские особи). И мне сей прискорбный факт все время ставили в упрек, отчего я страдала и наживала детско-юношеские комплексы.

Но все равно, по большому счету детство мое было светлым и счастливым. И мне хочется о нем еще немножко рассказать.

3. ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРИК

Как жаль, что детство не помнится все — от начала и... ну, конца-то у него нет. От начала. Оно помнится яркими пятнами, вспышками, как будто волшебным фонариком выхваченные из сумерек радостные или тревожные картинки.

Вот мы едем с мамой на велосипеде. Я — на багажнике верхом, болтая ногами, под крики: «Не всунь ноги в цепок (цепь)!» Мы едем по грунтовой дороге с бугра

вдоль лесополосы, разделяющей бескрайнее поле, и солнце мелькает между деревьями. А к раме привязаны саженцы яблонь. Потом мы их высаживаем возле дома с бабушкой. И это едва ли не первый наш яблоневый садочек. Как ни странно, яблони, груши, да и вообще фруктовые деревья в нашем селе начали повсеместно сажать только в 50—60-е годы. И я все время слышала рассказы тетюшек, как они в детстве ходили воровать зеленые яблочки в «жменивський садок» или еще куда-нибудь далеко или как им хотелось поесть вишенки, а какая-то старушка не давала.

— Не до яблонь было, в колхозе ж целый день. Прибежишь, курей покормишь да и обратно, — так объясняла бабушка. — Где-то же надо те саженцы взять...

Но мое детство, конечно, уже наполнилось и яблоками, и грушами, и, особенно, абрикосами. Во-первых, насадили огромные сады в колхозах, а во-вторых, подросли абрикосовые лесополосы. Нет, конечно, там были и другие деревья: акации, маслины (не те, что в Греции, а наподобие облепихи, с маленькими белыми ягодками, которые после первых морозов становились прозрачными и сладкими), клены, шелковицы. О да, шелковицы. Эта ягодка зрела первой. И мы ходили с черными ладонями и ртами, а также живописно пятнистыми майками и трусами. Это была наша ежедневная летняя одежда. Соседская баба Вустя (Устинья) утверждала, что более запачканных детей, чем я и Коля, на свете нет, она, по крайней мере, не видела.

Да, мы были свободными людьми! Каждая шелковица и абрикос в посадке, каждая вишня в саду была излазана нами от корня до макушки. У меня даже прозвище было «Та, шо на дереви сыдять» (та, что на дереве сидит). Когда надо было наклонить ветку, я вскарабкивалась на нее, цеплялась за конец и прыгала на землю. Если зависала, то кто-нибудь снизу хватал за ноги, тянул к себе, и таким образом мы достигали цели. Ну, кто-то может усомниться в том, что это настоящее счастье?

Или, к примеру, наловить в старом замуленном ставке вьюнов и нести их в пазухе домой? Или прыгать с крыши дома на кучу сена? Или съезжать с высокой золотой скирды на заднице? Этот трюк мы с Колей выполнили еще в четырехлетнем возрасте, спускаясь с домашнего стога. Помню тот момент, когда он (стог) опрокинулся и накрыл нас, и мы там лежим и орем благим матом, а взрослые мечутся с криками по двору, не понимая, откуда исходит ор.

Раза два меня пытались отдать в детский сад, который в нашем селе таки был. Мне рассказали, как там хорошо, какие там детки и книжки. И вот я с подушкой в кузове машины, на которой везут женщин в поле, еду поступать в садик. Что именно меня там не устроило, не помню, а вот как гонится за мною воспитательница где-то по огородам, а потом я с подушкой ожидаю машину, едушую обратно с поля, помню...

Раннее зимнее утро после снежной ночи. Все кругом завалено снегом. Снег на пороге, во дворе, до сарая не добраться. Но со стороны колодца слышится: «Сусиды! Вы там живи?» И мы видим деда Павла и Колю, которые уже прокладывают лопатами дорожку в снегу, и получается тоннель выше нашего с Колей роста... Волшебный тоннель.

Как-то летом дед Павло сторожил бакшу (бахчу) в колхозе. И практически жил в поле, в соломенном курене. Конечно, мы тоже там почти жили. Однажды ночью пришла гроза. Степные грозы в конце июля — начале августа — это нечто невообразимое. Почти каждое лето в селе что-нибудь загоралось от молнии. У наших соседей с другой стороны сгорела хата, пылали сараи, деревья, погибали, бывало, и люди. Особенно страшные так называемые «воробьиные ночи». Никто, правда, тех воробьев, которые якобы стаями летали среди молний, не видел наяву, но они мерещились даже

перед крепко зажмуренными глазами с засунутой под подушку головой. А в курене подушек не было! Молнии сверкали беспрерывно прямо тут, тут, тут! Удары грома сотрясали всю степь, весь мир! Зато как тихо было утром, после отгрохотавшей грозы... Эта тишина живет во мне спасительным островком в грохоте житейских штормов, в какофонии греховных помыслов и дел, в вое надвигающихся со всех сторон войн...

Вот мы с Колей первоклассники. После уроков качаемся на самодельной качели — доске, установленной на пеньке, и со всей полноты существования горлопаним песню «Выходила на берег Катюша». И тут откуда-то появляется учительница, решившая проверить условия нашей жизни. Дед Павло почему-то кричит: «На колени!» Это он предлагает нам совершить такое действие. Но мы не разделяем дедового благоговения перед должностью педагога и разве что прерываем песню... Хотя чего тут стыдиться? Тем более что поем мы, особенно Коля, очень хорошо. Мой сосед и товарищ не имел способности к наукам, но обладал прекрасным голосом и слухом, как и мать его Серафима. А еще — строптивым характером и независимым нравом. В школе он ни за что не желал петь всякий пионерский вздор. Когда его призвали к ответу, он изрек: «Я такэ нэ спиваю». — «А какое ж ты поешь?» — допытывались старшие. «Я по-мужицькому спиваю», — заявил мой дружок. И это была правда. Все окружающие едва удерживали смех, когда он еще в пятилетнем возрасте басом исполнял «Чорнорывец идэ, чорнобрывку вэдэ», абсолютно точно повторяя интонации известного певца, слышанного по радио. Эх, если бы в то время нашелся какой-нибудь попечитель, который бы помог Коле получить музыкальное образование...

О, как много всего было: огромные кавуны (арбузы), которые мы складывали осенью в кагаты; поиски сиреневого цветочка с шестью лепестками, которые надо было съесть, чтобы стать еще счастливей; вырвавшийся из загона бугай, от которого мы прячемся в высокой кукурузе и слышим, затаившись в ужасе, как он бежит и ревет по шляху...

Самое любимое: мы едем на арбе (у нас она называлась — гарба), да не просто, а на самом верху огромной копны сена, загруженного в это сказочное сооружение, которое тянут не менее сказочные животные — *волы*. Да, они были в моей жизни! Огромные, медленные, круторогие, добрые. Как-то в голову не приходило, что это — те же самые быки, у которых всю их ярость изъяли с помощью ножа... Так вот, лежим мы на сене, качаемся, а над нами небо, только небо, небо и небо, и мы по нему плывем, а откуда-то с далекой-далекой Земли доносится дедово «цоб-цобе»...

А вот я уже школьница, лет 10–11, иду после кино домой из клуба, широко размахивая руками. А село у нас располагалось двумя длиннющими полосами. Ярами назывались, потому что в долинах. Вот на одном яру один ряд хат длиной километров в шесть, а через бугор, параллельно, второй. Клуб находился «на том яру», то есть параллельном, и на противоположном конце. Идти оттуда около сорока минут. Уже темно-вато. Меня догоняет колхозный грузовик, в кузове которого возвращается из «кина» молодежь, в том числе недавно вернувшийся из армии мой сосед Гришка. «Зоя, садись подвезем!» Но я гордо отвечаю: «У меня ноги есть!» В кузове хохочут: «Ну да, мы ж тут все безногие!» Но я так и не полезла в кузов, а благополучно добралась знакомой тропинкой через поле, через луг, по мосточку-кладочке, вдоль огорода до хаты.

А вот это — грустно-щемящее. Ранним утром мы с бабушкой провожаем тетю Веру, которая уже работает в городе Северодонецке и учится заочно на инженера. Мы ве-

дем ее на гору, где проходит шлях. Из Зеленого Гая (название села) должен идти автобус до районного центра — Боровой, откуда она отправится дальше. Над полем лежит непроглядный туман, действительно — непроглядный, густой, белый, как молоко. Мы ждем автобус, зная, что он может и не прийти, сломаться или по любой другой причине. Но вот издали слышится гул, а потом сквозь туманную муть пробивается свет фар. Автобус... Бабушка с тетей облегченно вздыхают. А я огорченно поджимаю губы и готовлюсь заплакать. Мне не хочется, чтобы тетя уезжала. Она — мое окошко в неведомый, только-только появляющийся в соседском телевизоре мир. Там были горы, юноши и девушки с рюкзаками, и «ах, перекаты да перекаты», и зеленое море, а главное — город, с миллионами огней, с театрами, музеями, библиотеками. Не то что эти хаты, да фермы, да телята, которым тетя после школы тоже отдавала дань: целых два года пасла их, чтобы добиться выдачи паспорта... «Ну, до свиданья. Напышы ж, як доихала!»

Сколько было в жизни бабушки таких проводов! И обязательно надо было каждой гостье из города «наложить торбу». В голодные годы иногда в нее клали только буряк или капустину. Больше ничего не было. Песня «Ридна маты моя» пережита мною не единожды во всех деталях, вплоть до «рушника вышиваного». Но уже гораздо позже, когда от мамы остались одни вышитые ею рушники...

Случались, конечно, в моей детской жизни и огорчения. Матушка, замордованная бесконечной работой и одиночеством, частенько изливала на меня всю горечь своей страшной молодости и искалеченной жизни. Но все же она меня, безусловно, любила. И те огорчения, которые впоследствии принесла ей я, несоизмеримы ни с какими криками и запретами. Впрочем, почти все запреты мы с бабушкой преодолевали. Так, после седьмого класса наши учителя задумали свозить нас в Севастополь. Колхоз пошел навстречу и выделил машину — грузовую, но с натянутым над кузовом брезентом. Мать не хотела меня отпускать, мотивируя тем, что надо сдавать деньги, да и одеться же во что-то новое. Я рыдала невыносимо. В конце концов бабушка дала какие-то отрезки, отнесла мадиске (швею так называли от слова «модистка»), и та сшила мне малиновую юбочку и очень стильную блузку. И я поехала на этом грузовике впервые в жизни — к морю! Удивительно, но ощущения моря совсем не осталось в памяти, от поездки калейдоскопические картинки — графская лестница в Севастополе, развалины Херсонеса, ночевка в какой-то сельской школе...

4. ЗАГРАНИЧНАЯ

А вот это событие выделю в особую главку, поскольку оно во всей своей комичности имело жуткий пророческий смысл.

Наша хата, как уже сказано, располагалась возле кладбища, которое разделяло и одновременно навеки объединяло две деревни — Шийкивку и Клымивку. Документально наша семья относилась к первой. И душевно тоже. Я всегда знала, что «шийкивськи людэ самэ луччи в свити». Особенно — «горьковские». Когда-то наша сторона составляла колхоз имени Горького, а после объединения с «Калинина» стала улицей имени того же пролетарского писателя. Жители же Клымивки, наоборот, имели заниженный статус, выразившийся в присловье «а клымивци — дурни вивци (овцы, стало быть)». И хотя разница между двумя племенами была столь же неуловимой, как и «граница», в юной моей голове прочно обосновалось горделивое осознание принадлежности к роду более просвещенному и морально высокому.

И вот однажды по моему чувству местечкового патриотизма был нанесен сокрушительный удар. Моя мама так же, как и ранее бабушка и все остальные, работала, конечно же, в колхозе на территории Шийкивки, который после объединения назывался сначала «Рассвет», а потом «50-летие Октября». Но беда заключалась в том, что ферма находилась на другом конце села, ходить туда было слишком далеко. А клымивськка ферма, наоборот, располагалась совсем-совсем рядом. И матушка моя, солидаризированно с соседкой Серафимой, решила перевестись в ненавистный стан «имени Ленина».

Узнав об «измене», я ощутила глубокое горе. И не хотела общаться с домашними. А тут еще и дед Андрей, наш родственник, встретив меня на ставке (пруду), где мы пропадали с утра до ночи, пошутил: «А ты чого сюды пришла, заграничная?» Я зарыдала. А дед Андрей захохотал: «Тю, якэ дурнэ! На ось канхветик...»

Всякий раз, когда мне теперь приходится переходить границу между Россией и Украиной, я улыбаюсь, вспоминая эту историю. И горько плачу от ее столь ужасной проекции.

5. ШКОЛЬНЫЕ ЗАРНИЦЫ

Речь пойдет о моем школьном образовании. Тяга к учению проявилась у меня с малых лет. Так что уже к пяти годам с помощью бабушки я вполне овладела навыками чтения. Помню, крестная моя, которую все звали, как мама — кума Сарафима, придя в гости, давала мне газету со словами: «Зоя, а ну ж почитай!» Я читала. А кума хохотала. Ей почему-то казалось забавным, что такой маленький ребенок с серьезным видом читает. Но наверное, это так и было, если, допустим, в той газете публиковались какие-нибудь политические тексты.

Когда пришла пора идти в школу, я впала в панику и слезы: «Как же я туда пойду, если я немецкого не знаю!» И до того горевала, что бабушка взяла у родственников учебник немецкого языка и попыталась меня обучить. Но поскольку она сама не знала даже латинских букв, то поступала следующим образом: показывала картинки с подписями и говорила, как изображенные предметы, по ее мнению, назывались, вернее, как она запомнила их название из уст натуральных немцев, забредавших в деревню во время войны. К примеру, яйца — яйко, молоко — млеко, сало — салько. Ну, и счет: айн, цвай, драй...

Сразу скажу, что запас знаний иностранного языка за время учебы в нашей сельской восьмилетке у меня не намного увеличился. Ибо преподаванием его (с пятого притом класса) занималась наша классная руководительница Галина Александровна Полтавцева, которая параллельно вела историю, домоводство и еще какие-то предметы. Из них немецкий занимал самое последнее место в ее душе и разуме.

Перед смертью ее навещали мои подружки-одноклассницы, и она им с улыбкой сказала: «А я знаю, шо вы меня Махном называли...» Это прозвище наша воспитательница получила благодаря военно-патриотической игре «Зарница», где она лично возглавляла наш «боевой» отряд. Дело происходило зимой, и по этому случаю Галина Александровна водрузила на свою голову шапку-папаху ЧС красной лентой наискосок. Но почему, почему мы не ассоциировали ее в этой папаше с Чапаевым, Щорсом или Анкой-пулеметчицей? Не знаю... Делом доблести считалось сбить снежком папаху с головы «Махна». Самым метким оказался Толька Жилин, но, к сожалению, попал не по шапке, а прямо в глаз. Ругалась Галина Александровна на зависть Нестору Ивановичу...

Вообще немногочисленный коллектив наших педагогов особой интеллигентностью не отличался. А некоторые так и вовсе могли посоперничать с любым шофером по части специфических выражений. Преподавателя географии и биологии Алексея Титовича за глаза все называли «Тип». У него был сын Толик, на год младше нас. И вот этот Толик однажды летом пришел на ставок (пруд) в желтых шортах! Подобное одеяние на ту пору в деревне было еще весьма диковинным. И Васько Устименко без подвоха, а по искреннему любопытству спросил: «Только, а дэ цэ тобы Тип таки трусы купыв?» Сынок передал этот невинный вопрос папе. И тот на протяжении всего урока отчитывал Ваську, обещая оторвать ему поганый язык, а также голову и выкинуть собакам.

Типова жена, Александра Никаноровна, при этом была на удивление кроткой, тихой женщиной, учительницей русского и украинского языков и, соответственно, литературы. И самое интересное, что мы в своем сознании практически не связывали их.

Школа наша состояла из трех зданий. В одном, деревянном, располагались начальные классы. И мы сидели в одном помещении по два коллектива: перваки и третяки, втораки и четвертаки. Первую свою учительницу, ту, которая приходила нас навещать, я почти и не помню — так, воздушный образ молоденькой девушки. Она поработала совсем недолго и испарилась. На ее место пришла гораздо более суровая Любовь Максимовна, которая, впрочем, тоже продержалась отведенный ей государством срок и отбыла в неизвестном направлении. С нею у меня связано выявление моего то ли врожденного, то ли приобретенного уже в раннем детстве порока — близорукости. Я всегда сидела на первой парте, а во втором классе меня отсадили немного дальше. И вот Любовь Максимовна показывает прикрепленные к доске циферки и предлагает их перемножить. Я говорю: не вижу я ваши циферки. Она мне — двойку. Я — в слезы. И повезли меня в Изюм проверять зрение. Оказалось — минус пять, да еще и астигматизм. С тех пор до самой пенсии, когда мне поставили новые хрусталики, я проходила в очках, все время увеличивая минусовой диоптрий.

От пристрастия к чтению у меня был повышенный уровень романтичности, которая и без того царилла в обществе, а также привносилась моей тетей-туристкой. Мечтала я, конечно, быть и космонавтом, и, особо, капитаном дальнего плавания. Море, как сказано раньше, я впервые увидела летом после окончания седьмого класса. И это свидание продолжалось буквально один-два дня. А до того — самым большим водоемом, встречавшимся на моем пути, было Оскольское водохранилище, казавшееся безбрежным. А повседневной водной стихией являлся наш ставок (пруд), где я самостоятельно научилась плавать и довела это умение до совершенства. Летом мы отходили от него, только чтобы накрасть гороха в поле или полакомиться в лесополосе абрикосами или шелковицей. И когда по радио, а потом уже и по телевизору Эдуард Хиль пел: «Вода, вода, кругом вода», у меня сердце замирало. А в сарае, на чердаке, у меня был устроен «кубрик», и там находилось даже рулевое колесо. Импровизированное. Это была запчасть от домашнего деревянного ткацкого станка, именуемого «верстак». Там я даже ночевала...

Свою несколько отвлеченную любовь к морской стихии я сумела передать своим подружкам-одноклассницам Любе, Гале, Оле и Лидке. И вот! Мы совершили беспрецедентное по глупости мероприятие: перед окончанием восьмого класса, то есть всей нашей сельской школы, поперлись в райвоенкомат и предложили отправить нас или в мореходку, или же прямо на краснофлотскую службу! Жаль. Не помню я выражения лица военкома! Должно быть, хохотал он с коллегами долго. Но при нас сохранял серьезность и посоветовал все же получить среднее образование.

6. ПОЭЗИИ ТРЕВОЖНЫЙ ПЛАМЕНЬ

Бабушка Марфа в свое время окончила два класса церковноприходской школы. «Два, Карл!» — как сказали бы теперь. Но она не только читала и считала, а знала на память поэму Рылеева «Иван Сусанин», стихи Пушкина, Некрасова, Шевченко и других поэтов. И сейчас мы, оставшиеся ее дети и внуки, кто через 50, а кто и через 70 лет, помним «Зимнюю дорогу», «Несжатую полосу» и любимое «Пахнет сеном над лугами, песни душу веселят, бабы с граблями рядами ходят, сено шевелят. Там сухое убирают, мужички его кругом на воз вилами кидают, воз растет, растет, как дом». Эта с рождения знакомая картинка, описанная поэтом Майковым столь простыми словами, всегда вызывала восторг у селян: «Ты дывы (глянь), как он все описал правильно!» Еще и про собачку, Жучку удалую, что бегаёт в «рыхлом сене, как в волнах», не забыл упомянуть. Не помню уж своего отношения к майковским стихам, но, кажется, они меня особо не впечатляли. Что такого? Бабы с граблями, мужики, Жучка...

Первое дуновение поэзии, как стихии, я ощутила в отрочестве, классе в седьмом-восьмом. Донеслось оно до меня из сонетов Шекспира в переводе Маршака. Сонет 116.

Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнувший во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которую моряк
Определяет место в океане...

Вот так у нас никто никогда не разговаривал! И это привлекло, а затем увлекло меня на скользкую тропинку стихоплетства. Начитавшись Шекспира — Маршака, да, я обнаружилась, что тоже могу складывать слова в строфы и рифмовать их! Я написала стихами школьное сочинение. Потом стала высылать свои произведения на радиостанцию «Юность», которая вещала над моей кроватью через радиоприемник. И мне ответили! Написал какой-то очень умный, знающий человек, обращаясь со мной по-взрослому. Как жаль, что я не запомнила его имени! Он раскритиковал мое творчество в пух и прах, отметил лишь одно стихотворение про то, как я отдыхаю в куче теплого ячменя. И посоветовал читать русских крестьянских поэтов: Есенина, Рубцова, Тряпкина... Ну, Есенина я, конечно, читала. А вот до Рубцова добралась гораздо-гораздо позже. Через вьюги и костры Александра Блока, радуги и тучи Семена Кирсанова, вскрикивания и причитания Марины Цветаевой. Ах, какой я была невеждой! Только уже в университете в Киеве узнала, что настоящая фамилия Анны Ахматовой такая же, как у меня, — Горенко и тоже с ударением именно на первом слоге. Об этом на лекции по русской литературе сообщил всем присутствующим любимый нами профессор Хмелюк Николай Демьянович. И сказал, что я на нее (Ахматову) похожа. И все на меня смотрели, как на Ахматову.

Но это все потом, потом, когда девочка из степи попала в манящий звенящий и гремящий бубнами грехов мир, где заканчивается простое счастье и гнездится тоска... До него еще было два года в девятом и десятом классах в районном центре, там же — два года работы в районной газете «Трудовая слава». Не поступив сразу после школы в вуз, я таким образом как бы продлила свое самое лучшее время жизни. Хотя в ту пору я, понятное дело, об этом не знала и думала совершенно иначе.

Сначала я ездила в Боровую (так называется районный центр), за семь километров от дома, на велосипеде. Но его скоро украли, а новый мать покупать не захотела.

И я начала пешие путешествия туда-обратно, утром-вечером. Зимой, правда, в самые холода жила на квартирах.

В школе как в кино: побег с уроков, летний трудовой лагерь в палатках в сосновом бору, бесконечный хохот. Я любила литературу, конечно, но в равной степени — математику и физику. Одно из лучших удовольствий — решить задачку, которая сразу не решалась. Тот момент, когда будто окошечко где-то в мозгах открывается, и ты вдруг ясно видишь — что нужно сделать.

После получения аттестата я собралась ехать в Одессу, поступать в гидрометеорологический институт, да еще и на океанографический факультет. Тогда было время романтиков, и, следовательно, конкурс в названное учебное заведение — бешеный. Скорее всего, я бы туда не поступила. Но мне не пришлось даже сдавать вступительные экзамены. Ко времени выпуска я уже «прославилась» в местном масштабе: классная руководительница Виктория Пантелеевна отдала мои стихи в редакцию местной газеты «Трудовая слава», где их и напечатали. С тех пор вырезку хранила моя тетя и только в 2017 году отдала ее мне с условием, что я опубликую мои юношеские упражнения в сборнике.

Ну вот, Виктория Пантелеевна же совместно с другими отговорила меня от поездки в Одессу еще и по причине материальных затруднений, которые взрослые понимали больше меня.

Таким образом, буквально через несколько дней после выпускного вечера я была принята в штат редакции на должность корректора. Исполняла я эту обязанность месяца три, после чего получила другую должность — с громким названием «литературный сотрудник», а по существу, просто корреспондент.

И случилось это вот почему. Старшие коллеги, безусловно, помнят и никогда не забудут, как делалась газета раньше, в 70-х еще годах прошлого столетия. На машинах, называемых линотипам, набирались газетные строки и отливались в свинце. Да, это были натуральные, а не символические свинцовые строки. Их складывал в форму, следя по тексту, человек по профессии метранпаж. Затем намазывал форму краской, прикладывал лист А-3, прикатывал его и получал тепленький пахучий оттиск. Я его вычитывала вдвоем с типографским корректором. Но окончательный экземпляр подписывала я.

Чтобы исправить одну букву, надо было перебирать всю строчку и заново ее отливать, выковыривать старую и ставить на ее место новую. Ясно, что в спешке и при недостаточном внимании строчки переставлялись и вверх ногами, и в другое место, и даже в другую статью. А я была вот каким человеком (и во многом осталась до сей поры): а) шагом я почти не ходила — только бегала, б) показанному пальцу, который, между прочим, в то время не имел никакого пошлого намека, хохотала до судорог, в) два-три раза подряд читать и проверять скучные тексты для меня было мучительно и практически невозможно. Поэтому газета всегда выходила с чудовищными ошибками, с переставленными кусками текстов, которые меня долго преследовали в кошмарах. Помнится, во время дождливой уборочной в слове «обмолочено» мы пропустили две буквы — получилось «обмочено» столько-то гектаров валков, что в данной ситуации воспринималось особенно остро. А то еще поставили фотографию комбайна с подписью: «На фото передовой механизатор Сидоренко». Потом редактор рассказывал, что когда в райкоме его спросили: «А где же Сидоренко?», он ответил: «За комбайн до ветру пошел». Вообще, редактор наш, Игорь Наумович Эльштейн, обладал прекрасным чувством юмора. Но в первые минуты знакомства с вышедшим номером он испытывал припадок гнева. Он становился красным, нос у него дергался, он сучил под

столом короткими ножками, а потом срывался с места и, потрясая газетой, зажатой толстыми соскоподобными пальцами, бегал по кабинетам, смешно заворачивая ступни. «Это что такое?!» — издавал он риторический вопль. И не было на этот вопрос ответа, кроме дурацких хихиканий по углам.

Газета выходила три раза в неделю. Следовательно, два дня у меня были свободны от чтот. Поэтому если случался казус, а я приходила раньше Игоря Наумовича, меня встречал наш ответственный секретарь Витя Татаринот и говорил: «Зоя, давай чеши в колхоз!» И я быстренько упархивала в поля и на фермы, привозила оттуда репортаж или зарисовочку, которые народу и самому редактору нравились. И через пару-тройку месяцев услышала: «Я решил вас перевести в литсотрудники, у вас это лучше получается».

Так я стала корреспондентом. А корректорское место заняла моя одноклассница Люда Грабрь по прозвищу Дуня, не поступившая в институт. Потом, когда машинистка Катя ушла в декрет, к нам присоединилась еще одна наша ровесница и вообще односельчанка Лида, и еще одна вчерашняя школьница Наташка Емельянова «возглавила» саму себя в отделе писем. Вообще, сравнительно старыми (ну, для нас-то вообще динозаврами) были только редактор и его заместитель, завоцделом партийной жизни Петр Сидорович, да еще водитель «бобика» дед Шурик и жена его Ларионовна, работавшая истопником. Потому что редакция располагалась в доме с печным отоплением.

— Васька! — кричали мы из одного кабинета в другой, желая узнать что-нибудь у моего непосредственного начальника, двадцатилетнего завоцделом сельского хозяйства Василия Колесникова.

— Го! — отзывался он.

Редактор Эльштейн, услышав сию переключку, страшно возмутился:

— Как так, заведующего отделом, отца семейства Васькой называть в официальном учреждении?!

К нам, юным девицам, он обращался на «вы», и это тоже было нам ужасно смешно. До него никто нас на «вы» не называл. Нет, вру, вру, Федор Никитич, учитель русской литературы, в старших классах тоже величал нас... И никогда не ругался, не возмутился, не отчитывал никого. В общем, был чуть ли не первым и не единственным истинным интеллигентом в моей районной юности.

Два года пролетели, как два воробья мимо окна. Я изъездила, исходила все деревни в нашем небольшом Боровском районе. Описала всех доярок, механизаторов, посевные, уборочные, свинофермы, МТФ, МТС... И ведь не боялась браться за критические материалы. По глупости, конечно. Особенно доставалось моему дяде — Анатолию Ивановичу Гомону, председателю колхоза «50 лет Октября», которого я критиковала «принципиально»... Он был человек умный и не сердился на меня. До того доходило, и когда я приезжала, он начинал диктовать: «Так, Зоя, пиши: „По вине головы колхозу Гомона бурякы (свеклу) на полях до сих пор не выкопали...“» Обижалась баба Марья, его мама, моей бабушки родная сестра: «И чога вона до його прычепылася?»

За два года матушка моя накопила заработанные мною деньги, откладывая их «на книжку». И я отправилась в Киев, поступать на факультет журналистики Государственного университета. И поступила. Началась иная жизнь с иными восторгами и горькими разочарованиями. И она требует других жанров для описания...

СТИХИ

За любовь!

Знакомый город,
Айсберги домов
Плывут навстречу.
Холодно и страшно...
Но вечно необжитые квартиры
Моих друзей мне открывают двери.
Квартиры одиноких, деловых,
Смешных, сварливых и прекрасных женщин...
И вот уже шампанское гремит!
За встречу пьем по первому бокалу,
За то, что мы нашли, не потерялись,
За то, что дружим, как мужчины пьем.
Но тост второй — с улыбкой — за любовь!
И третий — со слезами — за любовь!
И то со смехом, то с тоскою,
Все за нее, за то, чтобы последней
Не оказалась бывшая вчера.
А на рассвете чай,
Крутой и горький,
И взгляд в окно,
Туда, где нам бежать
И догонять отчаянно автобус,
Как будто счастье...

Тревожная-дорожная

Вокзальным чувством беспокоясь,
Бегу я к дому по тропе.
Мне общежитие, как поезд,
Откроет узкое купе.
Пять этажей, всегда бессонных,
Таят в себе дорожный крик,
Как будто кто-то пять вагонов
Поставил штабелем в тупик.
Но за окошком утром рано
Маячит чей-нибудь вокзал.
Опять мелькнули чемоданы,
«Прощайте!» — ветер досказал.
Так много раз уже бывало:
Бегом сорвав пальто с гвоздя,
Мы общежитья покидали,
Как покидают поезда.

К надежной пристани причалив,
Поклон минувшему отдам,
По общежитиям печалюсь,
Как по ушедшим поездам.
И если в доме станет пусто
И станет дом мой нелюдим,
Я с молодым вокзальным чувством
Сбегу к попутчикам своим!

Кардиограмма

Я хохочу над глупым словом «драма»,
Я строю мир рациональный сплошь.
Но пишется моя кардиограмма
По линиям вершин, где ты идешь...
По заводам, равнинам и пригоркам,
По пикам поражений и побед...
Пока радист судьбы не запил горькую
И не ушел на длительный обед...
Мне, как и всем, простого счастья надо,
Но жизнь моя — случайный интерес.
Любить тебя на расстоянии взгляда,
Пока хватает взгляда до небес.

Видишь, тени зажглись и остыли

Видишь, тени зажглись и остыли
На домах, на деревьях, на мне...
И задумался город постылый,
Догорев в предвечернем огне.
Не гремели в кафешках тамтамы,
Не скрипели оконные рамы,
Все затихло, ушло на покой
Под давлением ночи литой.
Только я в тишине нереальной
Все хваталась за образ фатальный.
«Жизнь прекрасна, прекрасна», — вертелось
В воспаленном мозгу, и опять...
Будто медленно пуля летела
И меня не умела догнать...